



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Предисловие</b> . . . . .	5
<b>Часть 1. Мемуары и дневники, опубликованные в конце советской эпохи</b> . . . . .	9
Авторы, тексты, читатели . . . . .	12
Экскурс: мемуары и историческое сознание . . . . .	23
Мемуаристы вписывают себя в историю . . . . .	31
Мемуаристы предают гласности интимные подробности своей жизни . . . . .	35
Обобщения: интимность и история . . . . .	43
Мемуары создают сообщество . . . . .	44
Экскурс о «Живом журнале» . . . . .	69
Чувство конца . . . . .	74
Оговорка. В постмодернистском ключе, или Без «претензии на могучее документирование исторических фактов» . . . . .	87
Заключение . . . . .	91
<b>Часть 2. Лидия Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой»</b> . . . . .	95
Годы террора («застенок») . . . . .	100
Обобщения: советское государство, домашнее пространство и интимность . . . . .	119
Во время войны . . . . .	123
«Началась новая эпоха»: после 1953 года . . . . .	149
<b>Часть 3. Записки Евгении Киселевой–Кишмаревой–Тюричевой</b> . . . . .	178
Тетрадь 1: «когда началась война в 1941 году...» . . . . .	182
Тетради 2 и 3: «что-бы небыло Войнов...» . . . . .	197
История публикации и интерпретаторы . . . . .	213
Читая два текста параллельно: заключительные замечания . . . . .	224

<b>Часть 4. Сны террора</b> . . . . .	227
Методологические замечания: сны как исторический источник . . . . .	227
Сны Андрея Аржиловского: крестьянин, изнасилованный Сталиным . . . . .	238
Сон Бухарина о Сталине: Авраам и Исаак . . . . .	245
Дневник писателя Михаила Пришвина и его сны . . . . .	248
Онирическая автобиография писателя Вениамина Каверина . . . . .	261
Кафка в России: «Ведет обратно в ваши дурные сны» . . . . .	268
Рассказы о снах Анны Ахматовой . . . . .	270
Пророческие сны ученого . . . . .	281
Сны философа Якова Друскина . . . . .	284
«Убиваю во сне ужасных старух» . . . . .	291
Сны Сталина . . . . .	294
Заключение . . . . .	297
<b>Постскриптум: глядя из 2020 года</b> . . . . .	303
<b>Указатель имен</b> . . . . .	315

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана между 1999 и 2009 годом и впервые опубликована по-английски: *Stories of the Soviet Experience: Diaries, Memoirs, Dreams* (Cornell University Press, 2009). Речь в ней идет о мемуарах, дневниках и других автобиографических текстах о жизни в XX веке, которые появились в печати целым потоком с конца 1980-х годов в контексте перестройки и гласности — в конце советской эпохи. Здесь были и дневники из всего периода советской истории, опубликованные по архивным рукописям, и воспоминания, написанные во время оттепели или в 1970-е годы, и созданное уже в годы крушения советской власти: воспоминания (мемуары), дневники, памятные очерки, тетради, записки, записи, заметки и даже две телефонные книжки. Вспомним журнальные рубрики и книжные серии под такими знаменательными названиями, как «Мой XX век», «Частные воспоминания о двадцатом веке», «XX век от первого лица». В текстах, опубликованных в этих рамках, речь идет о катастрофическом опыте советского прошлого (воспоминания о счастливой судьбе чрезвычайно редки, даже для тех, кто не имел претензий к советской власти). В сознании и авторов, и издателей, и читателей эти публикации были частными свидетельствами о советской эпохе, которая подошла к концу, и в этом качестве приобрели статус культурного явления и политическую значимость. К началу XXI века поток начал иссякать, хотя отдельные дневники и мемуары и продолжали публиковаться. Сейчас, на расстоянии двух десятилетий, появление в печати потока мемуарно-автобиографических произведений и личных документов

о советском опыте, хотя они и были написаны в разное время, кажется характерным фактом 1990-х годов. «Девяностые годы» уже стали предметом острого изучения, и поток таких публикаций сейчас видится как составляющая этого периода.

Настоящая книга предлагает опыт чтения корпуса мемуаров и дневников о советской эпохе, опубликованных в 1990-е годы<sup>1</sup>. В соответствии с задачей, основное внимание уделяется именно текстам, их чтению и пониманию.

В течение 1980–2000-х годов в научном и публицистическом обиходе сложился набор категорий для исследования реакций человека и общества на исторические катастрофы прошлого, под общей рубрикой «память»: «коллективная память» (*la mémoire collective*), «культурная память» (*das kulturelles Gedächtnis*), «мемориальная культура» (*der Erinnerungskultur*), «травма» (*trauma*)<sup>2</sup>, «память и траур» (*memory and mourning*), «освоение прошлого» (*Vergangenheitsbewältigung*), etc. и, наконец, «постпамять» (*postmemory*). На их основе сформировались целые научные направления: *memory studies*, *trauma studies*. Разработанный в западной научной литературе, в основном на материале Холокоста, этот дискурс был задействован и в недавних исследованиях памяти о советском прошлом (во многих случаях — вполне успешно). При всей их полезности, от употребления установившихся понятий я старалась по мере возможности воздержаться (отнюдь не потому, что считаю

<sup>1</sup> Я активно использовала около ста текстов, принадлежащих более чем восьмидесяти авторам; общий объем прочитанных при работе над этой книгой текстов составляет около двухсот.

<sup>2</sup> Оговорюсь, что речь идет не о клиническом термине «травма», с его сложной генеалогией (без него никак нельзя обойтись), а о специфической «теории травмы» (*trauma theory*), то есть о представлениях о травме в ее связи с кризисом репрезентации (*crisis of representation*), сложившихся в гуманитарном знании постмодернистского направления (в трудах Кэти Карут, Шошаны Фелман, Доминика Ла Капра и других). Эти представления подверглись критике (оставшейся незамеченной многими) в книге историка науки Рут Лейс: *Leys R. Trauma: A Genealogy*. Chicago: University of Chicago Press, 2000. P. 266–297. Критический подход и контекстуализации теории травмы можно найти, в частности, в: *Radstone S. Trauma Theory: Contexts, Politics, Ethics // Paragraph*. 2007. Vol. 30: 1. P. 9–29.

их неприменимыми к советскому материалу)<sup>1</sup>. Как любой готовый набор инструментов и идиом, они несут в себе и интерпретативные презумпции (такие, как пафос освоения коллективного прошлого или идея о невозможности репрезентации травматического опыта), и сигналы принадлежности к определенному направлению или подходу, и политические коннотации. В мои цели не входили ни участие в теоретизации памяти или травмы, ни критика мемориальной культуры, ни исследование «советской субъективности» (о чем тоже немало писали в последнее время). Методологическая установка этой книги, обращенной к более широкой читательской аудитории, чем круг коллег (историков культуры), — это внимание к тексту и к смыслу, осознанному и неосознанному, а также к герменевтическим принципам понимания и толкования.

В части 1 предлагаются обзор текстов и кое-какие обобщения обо всем корпусе (о жанровых и нарративных стратегиях, способах осмысления и модусах переживания опыта, культурных функциях, которые эти тексты выполняют для авторов и для читателей). Часть 2 целиком посвящена медленному чтению «Записок об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковской, часть 3 — чтению записок Е. Г. Киселевой, опубликованных как пример «наивного письма». В части 4 предлагается толкование снов, которые в значительном количестве включены авторами в их дневники, записные книжки и мемуары.

Оговорюсь, что, хотя эта книга в первую очередь об автобиографических документах советского опыта, неизбежно речь пойдет и о самом опыте, о котором стремятся рассказать авторы, — о жизни человека в советском обществе.

---

<sup>1</sup> Критику моего подхода (на основании ранней статьи) можно найти в: Эткинд А. «Одно время я колебался, не антихрист ли я»: субъективность, автобиография и горячая память революции // Новое литературное обозрение. 2005. № 3. Возражу Эткинду, что я вовсе не считаю эти понятия неприменимыми к советскому материалу. Меня смущает главным образом то, что исследования о «памяти» приобрели характер массового промышленного производства и понятийные категории стали употребляться как клише, потерявшие свой первоначальный смысл и герменевтический потенциал.

При всем скептицизме по отношению к человеку как субъекту знания, свойственном гуманитарным дисциплинам эпохи постмодернизма, дневники и мемуары можно использовать и в соответствии с интенциями их авторов. В этом меня вдохновляют слова Ханны Арендт из эссе о понимании тоталитаризма:

Источники говорят, и то, что они показывают, — это самопонимание и самоинтерпретация людей, которые действуют и верят, что они знают, что делают. Если же мы будем отрицать их способность к этому <...> мы лишим их дара речи, даже когда речь осмысленна<sup>1</sup>.

Именно о самопонимании и самоинтерпретации жизненного опыта советского человека, каким он предстал в дневниках и мемуарах, опубликованных в 1990-е годы, и идет речь в этой книге.

Очевидно, что в последние десятилетия, в XXI веке, отношение к советскому прошлому в российском обществе изменилось; изменился характер автобиографических и семейных историй и их рецепция. Об этом постараюсь сказать несколько слов в Постскрипуме.

Перевод на русский язык выполнен автором, причем в текст внесены исправления и улучшения.

Публикуя книгу, написанную более десяти лет назад за рубежом и посвященную актуальному материалу российской культуры, автору стоит подумать о том, чем эта книга может показаться сегодняшнему читателю в России несвоевременной и неуместной. Об этом надеюсь услышать от читателей.

*Беркли, Калифорния, 2020*

<sup>1</sup> *Arendt H. On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding. // Essays in Understanding, 1930–1954. Formation, Exile, and Totalitarianism. New York: Schocken Books, 1994. P. 338 (перевод мой. — И. П.).* Йохен Хелльбек привлек мое внимание к этому замечательному высказыванию Арендт, которое он использовал в своем исследовании дневников сталинской эпохи и советской субъективности: *Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006. P. 11.*